

ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ

А пожелание у меня такое, чтобы в Южную Америку во-первых поехать. И все там как следует посмотреть. Аргентину, Чили, Перу, и во французскую Гвиану нос засунуть, где Дрейфус сидел. А потом вернуться и учредить издательство Yatta Press, и завести там различные проекты. И кино еще попробовать снимать, мне интересно. Пойду лотерейку куплю, вот что. В нашем инвестиционном бизнесе расхлябанность недопустима.

Немцы, мистер Коробок говорит, это высшая раса. Это очень трудно – быть высшей расой. Нести это в себе, каждый день. В каждом слове. Он сам из немцев, он в теме. А японцы – это немцы Азии. И если надо, они поставят там всех на колени очень быстро. И будет, как было когда-то, – вся Азия под одной крышей. Но это нельзя никому говорить. И ты тоже молчи.

На днях потеряла кота – ушел, подлец, с вечера, ночью кто-то орал, но мне было лень, с утра не явился. Днем уже, с работы пришла и вспомнила, что был у меня в прежнее время кот. Потому что в миске пушкинской сидели мошки, а я этого не люблю. И чего ты думаешь, уже собиралась тушку идти высматривать по обочинам, но тут внутренний голос сказал мне открыть кладовочку. Кладовочка у нас на улице. Раньше там как раз жили мыши, но теперь они умерли. И я там порядок навела, на прошлой причем неделе. Ну вот, открываю кладовочку, по внутреннему голосу – а там вещи уже все упали, а сверху эта сволочь литературная сидит.

Вот ты честно скажи, ты Пушкина любишь?

Кстати, последнее время очень рислинг мне нравится. Желательно немецкий.

Булгаков конечно хороший был человек. Но не полностью. Потому что вот как, как можно было с таким ничтожеством жить, как дорогая его Елена Сергеевна? Он объяснил многое в «Мастере»: любовь – убийца в черном плаще, подлое наваждение, от которого не убежать, как от дурноты и от плена – а толку? То роман. А то жизнь. Жизнь выбираешь каждый день.

Она ж была абсолютно бессовестная, да и не в том даже дело: она была мелочной и пошлой плебейкой. Вот это никак мне не скушать. Ведь он художник был, а не лавочник. Камень украла, с могилы Гоголя, чтоб ему положить. Реестры записывала, в дневничке – кто из знаменитостей приходил, да какие блюда подавали. В какие ключья расползлась его жизнь при ней. Пьесу про Сталина пустился сочинять. Дрова.

Я знаю, наркотики забирают многое: брезгливость – прежде всего. Но он ведь писать стал после того. Он заплатил: он отказался быть врачом. Врач это служение. Тогда это так понимали, и он это так понимал, его так учили; и он – отрекся. Потому что был соблазнен.

Причем Лаппа, которая все основания имела к нему быть, скажем, предвзятой, – она оберегала его тайны, уже и будучи вдовою Кисельгоф, до гроба. У нее было чувство чести. Не напрасно он так порывался с ней увидеться в ожидании смерти. И то, что его такая женщина себе однажды выбрала, о нем что-то говорит. Вот только эта гниль.

А Пушкина я конечно тоже люблю. Но не постоянно.

* * *

Люся вообще была библиотекарша в Ленинке, и зал, в котором она работала, я как раз туда ходила в то время, и теперь все думаю – я же могла ее там видеть? Не помню.

Она была замужем за немного отвратительным впоследствии еврейским мальчиком, который, как это принято было у тех мальчиков, работал программистом. В свободное от карьеры время он все поправлял свое мужское превосходство, а Люся все старалась его душевным теплом отогреть. Напрасно, конечно. Да ведь, когда тебе двадцать лет, разве ж разбираешь? А потом Австралия открыла квоту для евреев, и они поехали.

В Австралии амбициозный программист нашел кой-какую работу, и начал Люся гнобить уже по-взрослому. А Люся познакомилась в конце концов с одним журналистом. Лет ему было уже до фига, может даже и пятьдесят. И у них начался роман, с тем дядей. В Канберре.

Он увлекательный был мужчина – книги писал, музыку сочинял, разговоры. Но только вот совсем уж оказался небогат. А Люся молодая. Да еще муж затеял ребенка отсуживать. Так что журналист, долго не думая, отправился грабить банки. Чтоб хоть на адвокатов собрать. Он, когда начал, подряд несколько банков обнес, с приятностью.

Хорошо на самом деле тогда еще все жили – и авантюрная Люся, и подловатый программист, и этот романтический перец. Он не постоянно грабил, а так, время от времени. Остальное время книгу сочинял, да ухаживал за Люсей. И дочка с ней была.

– Ты даже не представляешь себе, какая это жизнь, – писала потом Люся подруге в Москве. – Я ж не жила, раньше.

Она из Подмосковья вообще была. Не помню, откуда.

А потом банкомета этого все-таки поймали. Он ведь собирался на каждом разе завязать, да очень уж дело оказалось интересное. Все думал – ну, еще один банчик, и брошу. Ну и посадили его. А Люся осталась, со своим неразделенным ребенком.

И она вроде тосковала по своему писателю, или что. И время шло, но недолго. Однажды она рентанула вертолет экскурсионный. А там достала пистолет, немножко грустно, и приставила его вежливо к водителю. И пригласила подлететь до тюрьмы.

Вертолетный почему-то сразу все понял.

– Чего там, говорит, давай смотаемся. Сам никогда не был. Керосину хватит. И полетели.

А на зоне как раз прогулка тогда была, Люся все рассчитала. Так что приземились они на минуточку, подхватили писателя – и назад. То есть неизвестно на самом деле, куда, потому что библиотекарша с писателем после того пропали. Хотя розыски шли, и по ТВ шли объявления, и в прессе. Даже были слухи, что overseas они свалили. Ищи ветра в поле, короче.

И уже вроде все стихло. И тут вдруг прибегает на ТВ гражданин, запыхавшись, – чуть не убили его, едва добежал. Он работал в фаст-фуде одном, в Мельбурне. И к нему зашли покушать Люся с тем мужчиной. Показали пистолет, как уж повелось, – и предложили подвезти до Сиднея, вежливо. Бутербродный человек раздумывать тоже не стал, а запер по-быстрому лавку, и повез. И там возле Сиднея где-то их высадил, они попросили. А тот сразу на ТВ побежал, с визгом.

И поиски начались по новой. Опять объявления по ТВ, фотографии во всех газетах, этот отечественный законный ушлепок с публичными обращениями: – Люся, поимей свою гражданскую совесть! – и прочие звуки.

Это даже до русских газет тогда докатилось, и там тоже что-то такое обсуждалось. И через несколько недель их вроде бы поймали. Потом еще несколько месяцев шел процесс, и опять все газеты писали, и шум вокруг стоял уже просто международный. Ждали все окончания суда, чтобы купить историю у участников, написать про них книжки, снять фильмы, внести их имена куда заносят, получить денег и общее удовольствие, как у нас это в американах принято.

Статей им предъявлялась куча, но главное что там было – пистолет. За пистолет светило пожизненное: угроза личности, тут с этим не шутят.

Люся очень уязвимая была, после семейного своего омута. И на жулика того она потому и упала. Когда из дурдома наконец вырвешься, путей ведь не выбирайешь. Бежишь куда ноги несут. А то, что тот джентльменом оказался, это все и решило: неважно, что гангстер, неважно, что gambler, неважно, что безответственный и зарабатывать не умеет. Яркая у нее жизнь получилась. Она ж сама наверное удивляется.

Потом на сцену вышел безымянный австралийский судья. Бесцветный человек с кривыми зубами и гнусливым британским голосом, безупречный крючкотвор и пожизненный чиновник. И он обломал всех разом и навсегда, этот клополов с жидкими волосами. Писатель получил не помню сколько – но несколько больше, чем он, пожалуй, проживет. Люсе дали лет пятнадцать, с паролем через 10, кажется, лет. Но самое главное – историю свою им пересказывать запретили. И видеть друг друга тоже. End of story. Конец каждый допишет себе сам.

И вот еще чего, удивительно. Она же старославянским вообще занималась, Люся-то. А значит, если не у бабушки моей была аспиранткой, то уж консультировалась у неё, точно. А я в Ленинку одно время как на работу ходила, каждый день. Туда, в хранилище. Где Люся как раз обитала. А муж ее во второй школе учился, где мой четвертый бывший муж Паша тоже тогда учился. Воображаю, какая га-достная была там в те годы атмосфера.

Мистер Коробок говорит, что я должна найти ее там, в тюрьме. А как я найду-то?

* * *

Когда над чем-то очень долго работаешь, там как-то угасает все со временем. Замучивается. Получается такое «Явление Христа народу»: вот он ее всю жизнь писал-писал, так и умер, и чего? «Coffee and cigarettes» Джармуш тоже долго страшно делал – все добавлял там чего-то, потом убирал... Да и с «Шинелью» у Норштейна такая тоже вышла история. А вот Sagrada Família Гауди всю жизнь строил, а она и сейчас – пламенеет. Должно быть, не всем этого огня хватает надолго.

И наконец про Федора Михайловича – да! Федор наш Михайлович был мною тщательно прочитан еще в школе, и совершенно попусту. Как писателя я его недавно только оценила, а вот пургу эту, про очищение страданиями и культ самого последнего человека на земле – такой эгоцентризм вывернутый, с обратным знаком, – долго воспринимала с полной серьезностию. И внимательно пробовала эти глубокие теории на себе. Он был очень сумасшедший, все-таки. Но какой рассказчик, боже мой. Оторваться ведь нельзя – даже когда полную чушь метет. В нем была эта магия слова, и она кружила его, как бубен шамана.

Теперь с мужьями. Это получилось как. Маме я не нравилась с самого начала. Брат потом уже больше вроде приглянулся, да и то поди не сразу. А я стесняла мамины свободу, и семейная жизнь у нее выходила все какая-то противная. Но она объясняла всегда тем, что просто я плохая получилась. Неудачный проект. Папа вначале сомневался, но постепенно тоже проникся.

Личность, кстати, все равно формируется гармоничная, даже если родители не любят. Только с небольшим кокетливым приветом: с одной стороны, на любые жертвы пойдет, чтоб заслужить одобрение, с другой стороны, никаких собственных предпочтений ни в чем нету. То есть жить может с кем угодно.

И я, конечно, под каждый встречный поезд бросалась, чтоб меня полюбили. Самых безнадежных подбирала. Ведь если же спасти как следует, то и любви будет побольше, правда?

Так что первый мой муж был мерзавец, второй уголовник, третий сумасшедший, четвертый падальщик. Разнообразие – это мой козырь. Но все-таки однажды до меня как-то доехало, что я живу с подонками, потому что компенсирую отсутствие родительской любви в детстве. Это было как будто сугроб на голову надели. Это неописуемо. Поэтому пятый мой муж оказался таким, какого я себе намечтала в 18 лет, да никогда не ожидала встретить. Число Фибоначчи скорей всего сработало. Математика не собачий хвост.

Пользуясь случаем, посылаю тебе список трейлеров Джармуша.

Мы на Netflix периодически подписываемся – это дешево очень, сервис такой, по почте диски присылают, – быстро срываем копии специальной нашей компьютерной лисой, – и потом живем припеваючи, с вишневым вареньем.

Нету ли Netflix в Японии?

Night on Earth. Часы, наплывающий глобус, Tom Waits с арией Бармалея... а потом сразу начинается LA – уж какой бог послал. Старый Макдональдс, расхлябанные лимузины, 68 по Фаренгейту в 7 утра, халупы какие-то невообразимые

по обочинам. И пальмы дурацкие там и сям. Кайфовый город. Людей вот только много.

Пррраз – все поехали на красный, дружно.

Нью Йорк, люди сказывают, тоже хорошо снят – атмосфера города сразу передается. Кучи мусорные на тротуарах, сирены воют круглые сутки, огни переливаются, и чувствуешь как на свалку попал – все что угодно можно найти, если покопаться. Культурное в общем место. Надо и мне туда съездить когда-то.

Или вот болото, например. Болото – это же судьба, соотечественники. А Роби этот Мюллер так там траву снял, желтоватую, с деревьями, что просто на нее хочется смотреть как в окно, вечно. И думать: вот, болото. Down, блин, by law.

Феллини тут отдыхает конечно, в одном причем мусорном ящике с Кирой Муратовой, потому что такая свобода выражения изнутри идет. И этот счастливый дар, он мало кому даден был, и не навечно – как показал нам опыт Курасавы. Всегда дурака без вдохновения не наваляешь.

Ну, у нас все хорошо. Бензин дешевеет, сливы в магазине, собираять в этом году ничего не ездили, времени нет. Но мама Лида собирает на общественном огороде помидоры, так что пока держимся. Огурцы тоже, но что-то уж очень большие. На тыкву пока не ходили. Они уже практически спели, но мама не донесет, а мне некогда. Даже думаю в магазине не купить ли. Там ведь тележки. Но все-таки жаль денег, на огороде бесплатно. Идти надо в сумерках. Прям не знаю.

Забыла еще написать, я работаю на работе. Каждый день. Сильно не перерабатываю конечно. Хотелось бы однако, чтоб платили побольше, а работать все же чтоб поменьше. И что-то сделать наконец с началом рабочего дня, потому что из дома я выхожу без пятнадцати семь, а это очень мне рано. Многие коллеги кстати со мной согласны. А вот как заканчиваю, устраивает совершенно, в 2 часа уже хорошо. И я сразу тогда еду в бассейн, развеяться.

Но чтоб еще меньше работать никак мне не находится места. Везде надо работать больше. А платить будут не так чтоб сильно много. Где же правда?

THOUGHT OF A DAY

Тут передача идет, про Вашингтона сейчас. Про Джорджа. А у него лошадь была белая, Нельсон звали. Она была важнейшей частью, говорят, его политического имиджа. Всюду он бывало со своим Нельсоном. Еще президент отменно танцевал, имел вставную челюсть и очень мило украшал комнаты. Он был настоящий гордость отечества.

Ну и на картинах когда, рот у Вашингтона конечно исторически закрыт – чтоб челюсть невзначай не выскочила. А только у соратников, я гляжу, чемоданы тоже позахлопнуты. И на парадных портретах губы у всех скаты, взгляд твердый. И даже за разговором когда живописец кого запечатлел – люди вроде беседуют, но по отдельности все энергично молчат. Зубы-то поди у всех хреновые были, хоть ты принцесса там, хоть слава нации. А вот у Нельсона зубы были просто отличные. Он тоже любил президента.

* * *

Чего люди с чужими произведениями выделяют, это конечно ужас. Мне вот за Мандельштама радостно всегда было, что не прочел он опубликованных впоследствии стихов с левыми редакциями, и не видел помоев, извергнутых бесчисленными герштейнами по его поводу. Здорово, что он так быстро умер. И я полагаю, что в полях вечной охоты это все уже по барабану. Ведь человеческий слух так несовершен: с той стороны это должно быть очевидней.

ДРАМА НА ОХОТЕ

Бычок, он постоянно у лисы утащить чего-то норовит из рта. То и дело: подкрадется и – цап! И побежал. Лиса только чемодан распахнет удивленно, а бычка уже и след простыл. И сдалась ему та мышка? Это ж мельче котлеты ерунда. А лиса за ней может полдня по полям лазила. Ей, как профессионалу, обидно. А все потом – хитрая лиса, хитрая! А она не хитрая. Она за справедливость. А бычок просто покушать любит.

* * *

Кurosава никогда не окажется в одной мусорной коробке с Феллини: есть вещи, которые бессмертны дольше остальных, и к тому времени, когда Акира превратится в мусор, пыль от Феллини давно развеет ветер. Не люблю пустую помпезность, надуманные паузы и искусственную глубину итальянского кино: они слишком любят казаться многозначительными, когда сказать нечего, и невыносимо серьезно относятся к себе. Вот это нас с ними роднит.

О чём это я. Да, музыка у Джармуша всегда очень тонко сделана.

* * *

Растерявшаяся лиса сидит на пустом ящике, и свесила хвост.
Где же девался цыпленочек? Сколько печали в саду.
Пахнет убежавшим бычком.

* * *

А вот что медведи все-таки, когда залегают? Потому что троих уже человек, как минимум, съели. Один был с подругой, непризнанный артист, и его даже законно где-то съели – перед самой зимой. Медведи шукали за рыбой, а тот кемповал где не надо. Подругу тоже, того, – рядом пришлась. Голодный был год тот в Америке.

Но вот другой, то есть третий, это был наш, русский исследователь Николаенко. Он был против кормления медведей принципиально. Даже, бывало, крепко сцепился однажды с канадским одним тоже медведеведом, по поводу рыбы. Утверждал, что кормить не следует: дармовая осетрина разворачивает. Чем кончилось: Николаенко, под новый год, полез до медведя, который уже залегал в спячку. Без рыбы, зато с камерой. Медведь, проснулся, задрал Николаенко, выбросил камеру и залег снова. Через две недели всех нашли менты.

Нехорошо конечно говорить, но медведя я понимаю. Царствие всем.

* * *

Да, голос у нее редкостный.* Монсеррат Кабалье напоминает, – только необработанный. Поет, как птица. Монсеррат говорила, что от ее голоса у людей головная боль проходит. Вот и она, наверное, тоже могла. Видно, что ей это было легко. А какой интерес делать то, что легко, как дыхание, когда в тебе еще столько всего полыхает? Я ее понимаю.

Когда человек делает все время что-то одно, – он становится каким-то узким, как инструмент. Он становится несвободным. Личность вообще трудно свести к одной плоскости. Тем более, когда ее так много. Потому что сейчас ты – это одно, через минуту совсем другое. А завтра может быть третье. И когда люди характеризуют себя по способам труда, мне в этом видится что-то ущербное. Я – архитектор. Дизайнер. Посудомойка. Профессор. Конь в пальто. Это ведь просто виды занятий, как можно отождествлять себя – с занятием? А в воскресенье, дома, во сне? Когда ты смотришь в окно?

Есть силы, которые нельзя реализовать в рамках профессии, какой бы творческой она ни была, и они сожгут тебя изнутри, если не найдут выхода.

Все-таки то, что называют – дар – это какой-то личный вызов, что ли. Вот он тебе брошен, этот вызов, и если ты его принимаешь – как обет, как неизбежность, как служение, – то жить становится проще. Это как в религию вступить. Выбор сделан. И ты с ним смиряешься, как с формулой несвободы.

Или ты с ним не смиряешься. Потому что в тебе еще до фига всякого играет. А как сделать, чтоб на всех столах играть одновременно, – пес же его знает. Но вот просто принять молча то, что тебе природой предложено, как личная сила, довольно трудно. Все остальное-то куда?

...на сайте Одноклассники. На кладбище похоже, знаешь. Имена, имена, лица. Все такие, прихорошенные. Не хотят плохо выглядеть в глазах вечности. Портрет поколения. Ну, это если оставить в стороне комитетские аллюзии.

Каждый раз, как я читаю что-то на русском, – какие-то форумы, статьи, обсуждения, – становится стыдно. Это плохо, потому что ложь не в языке, не в предмете, ложь в человеке. И этот человек, вероятно, я. Все равно, не хочу объясняться по-русски, противно. Ничего не хочу сказать этим людям. Не хочу с ними иметь холопского общего.

Мандельштам, Достоевский, Гоголь. Если повторять, это помогает? Хлебников. Гойя.

* Екатерина Савинова. Серенада. Шуберт.